

Доносы и наветки

Страшнее, чем карточка.

Александр ГАЛИЧ.

В октябре 1964 года умер мой отец. Я помню его, высокого, широкоплечего, красивого, ходившего со мной в Баку на шумные первомайские демонстрации. Я помню его, усталого, присевшего ночью с нефтепромыслов. Я помню его, сочинявшего и рассказывавшего захватывающие истории об индейцах. Я помню его, деятельного, загроуженного сверх всякой меры в Небит-Даге и уже задремавшего, больного, с трудом передвигающегося по улицам Уфы. Я помню его, бесконечно доброго к людям и счастливого счастьем своей семьи. Я помню его последние дни в больнице: побледневшее лицо, одухотворенная улыбка и в глазах тревога — не о себе, а о нас. Все в его роду дотягивали до восьмидесяти с лишним. Он не дожил и до шестидесяти. Я прилетел в Уфу после тревожной телеграммы матери: "У папы инфаркт — срочно выезжай". А через три дня вновь инфаркт — и смерть.

Я ходил по длинному больничному коридору и словно заведенный твердил:

— Сволочи, они его убили! Сволочи, они его убили!

Мама плакала и озиралась по сторонам:

— Тише! Прошу тебя, тише!

И отвратительная сцена прощания в Уфнефти, где он работал заведующим лабораторией. Зал. Люди. Минуты перед выносом. К гробу подходят и на мгновение замирают члены партийного комитета — те, кто загнал его в могилу.

Ах, отец! И с чего бы, хотя уже скоро пора на пенсию, тебя понесло вступать в ряды КПСС? Ты вдруг поверил в магическую силу XXII съезда, поверил, что коммунисты станут иными, что изменится их природа. Во многом такой дальновидный, ты, проявляя здесь роковую близорукость, поучал меня: "Надо идти в партию, чтобы очистить авгиевы конюшни". Вот и очистил.

Мало тебе было лаборатории. Ты еще взвалил на себя изучение классиков марксизма-ленинизма и должность председателя месткома института. А тут началось распределение жилплощади в только что отстроенном доме. И, как всегда, партийные товарищи, не рядовые безгласные члены, а горластые функционеры, уже имевшие однокомнатные или двухкомнатные квартиры, потребовали больших. Пусть рабочие и техники еще поживут в коммуналах, поютяются в подвалах — ничего с ними не станется. Удовлетворите сначала нас, ценные кадры.

Я-то тебя хорошо понимаю. Я и сам бы их послал к чертовой матери! Но зачем же после этого подавать заявления о приеме в партию? О, как на тебя накинулась свора! "Почему вы в сорок втором году уехали из Баку?" — "Не уехал, а был сослан". — "Сейчас все на сталинское время сваливают. Где у вас доказательства?" И ты писал письма в Баку: "Поднимите архивы". И ты обращался в Москву к министру нефтяной промышленности: "Пришли мне справку". И ждал ответов. По институту же распознал подлый слух: "Его никто из Баку не гнал... Он скрытно бежал, чтобы не попасть в армию". И твое без того подорванное сердце не выдержало. И — конец. И я должен был из-за мамы терпеть и молча смотреть на живописные физиономии твоих убийц, на то, как руками, писавшими тебе анонимные гнусные письма, а на тебя доносы, они поднимали гроб с твоим телом.

За смертью отца незаметно прошел для меня октябрьский переворот — снятие

Хрущева. Будучи в Тбилиси, я услышал об этом накануне официального сообщения. В нашей сверхсекретной стране тайное отчего-то становится явным быстрее, чем где бы то ни было. Я подбегал к танцующим от радости прямо на центральной площади грузинам (турнули-то негодяя, развенчавшего Сталина!) и спрашивал: "Откуда вам об этом известно?" Они смеялись: "От Би-би-си!" Смех смехом, а в конце шестидесяти годов узбекский поэт Тайзулаев мне говорил: "Би-би-си все знает". Шучу: "Би-би-си не КГБ".

...Однако Би-би-си или не Би-би-си поведало о свержении Хрущева, а было ясно,

дим в их прославленную организацию. Мой сопровождающий, выслушав по телефону чье-то распоряжение:

— Распишитесь, что отдали нам пленку, и вы свободны.

— Зачем она вам?

— Прослушать. Для устрашения, что ли, они меня сюда привезли? Мог расписаться и дома.

— Прослушайте при мне и верните.

Странно я себя вел, не так ли? Потом недоумевали родственники: "Отчего ты такой приткнутый стал? В детстве темной комнаты боялся. А сейчас с КГБ воюешь". Я и сам не понимаю. Ну, позже, в 70-х годах, мной руководила ненависть, которая, наверное,

альный метод увещевания. На Лубянке с таким трепом не полезут. Очень уж глупо.

— У него не о вас же песня. О ваших предшественниках.

— Но для чего? Партия разоблачила злоупотребления периода культа личности, и хватит.

— А почему о войне не хватит? Почему поощряются произведения о ней? Гибель людей в лагерях — трагедия не меньшая, чем их смерть на фронте. Даже большая, потому что она бессмысленна.

На эту тему Герсамия дискутировать не уполномочен.

— А Галич не антисемит?

— ?!

— Вот песня о евреях какая-то двусмысленная.

— Нельзя посмотреть? Никому не скажу.

— Как можно? — отстраняется от меня Герсамия, успешно упрявляя важное доносение.

— Но теперь вы понимаете, что написать придется. Мы не имеем права игнорировать... — он на секунду запинаясь, не зная, как назвать донос, — этот сигнал.

Что у них за помыслы? Обычно если на кого-нибудь доносят, то от него требуют объяснения поведения, из меня же выуживают литературную рецензию. То ли уповают, что ненароком поставлю им сведения о Галиче, то ли выясняют, что я за птица.

— А пленку отдадите?

— Не могу.

— Я ее спрячу в чемодан и до отъезда из Тбилиси не достану.

— Не могу.

— Но это же идиотизм! У всей Москвы есть записи Галича. Отберете — я приеду и снова запишу.

Он всем видом демонстрирует, что согласен, однако заискивает не от него.

— Заместитель председателя нашего комитета был в прошлом месяце в Москве на совещании. Им прокручивали песни Галича и велели повсеместно их изымать. — И утешающе: — Никого не задерживать, но отбирать.

До чего же вы гуманные и хорошие! Только песни арестовывае, а людей пока не трогае.

— Послушайте, — говорю. — Пленку у нас купить трудно. Дефицит. Вы вместо этой хотя бы чистую мне верните...

Глаза его округляются. Не ясно, шучу я или всерьез. Убедившись, что всерьез, куда-то звонит и затем удовлетворенно:

— Сейчас принесут, а вы пока пишете.

Осторожно формулирую: "Все песни Галича написаны на основе решений XX и XXII съездов партии. Я предпочел бы сохранить запись для себя, но, подчиняясь желанию тбилисского КГБ, оставляю в его распоряжении".

Закончил, и как раз принесли бобину. Выдрочиваюсь:

— Почему вы забрали у меня бобину, а взамен дасте маленькую?

— У нас другого размера не бывает.

— Ну дайте тогда две.

Он озадаченно:

— Сейчас нет. На днях завезут. Вы звоните и заходите к нам. Еще одну обязательно получите. — И, прощаясь в коридор: — Вы часто приезжаете в Тбилиси. Будет сложно с гостиницей — обратитесь ко мне. Устрою.

— Спасибо. У меня здесь родственники.

— Насчет пленки позвонить не забудьте! — напутствует меня специалист по литературе, которого я потом на протяжении многих лет видел шныряющим по редакциям тбилисских газет.

Александр ГЛЕЗЕР

Вурачты. — 1994. — Декабрь. — с. 9.

Донос... Еще донос

Александр Глезер — человек искусства, а не при искусстве, хотя он устраивает выставки художников, издает книги. Бизнесмен? Да. Но и заслуженный деятель искусств — не по официальному званию, а по сути дел своих.

Его друзья и соратники — это целая плеяда талантливых российских художников, не посрамивших себя созданием полотен по канонам социалистического реализма. Это талантливые и смелые писатели и поэты, которым был открыт доступ в журналы, печатавшие толстые романы о кавалерах Золотой звезды. Александр Глезер хранил у себя многие опальные полотна и зловредные вирши. И когда его вытолкнули за рубеж, он основал под Парижем Русский музей в изгнании, а затем создал еще один одноименный музей — под Нью-Йорком. Он открыл издательство "Третья волна" (Париж — Нью-Йорк), которое выпустило свыше тридцати книг опальной прозы, воспоминаний, публицистики.

Как только стало возможным, Александр Глезер приехал в Россию и теперь "больше здесь, чем там". И снова устраивает выставки, издает книги. И сам пишет. Мы предлагаем вашему вниманию главу из его книги воспоминаний "Человек с двойным дном", которая только что вышла в свет.

что свалили его сталинисты и могло повернуться по-всякому. Оно и повернулось, но не сразу.

...В 1966 году в Тбилиси, возвратившись из гостей, узнаю от дяди, что ко мне заходил какой-то тип. Не застав, пообещал завтра позвонить. Рано утром звонок. Продираю глаза. По телефону вежливо:

— Александр Давидович, с вами говорят из комитета. Не дадите ли нам литературную консультацию? Мы приехали за вами машину.

На днях я выступал по радио. Предположил, что просят оттуда.

— Зачем машина? Я пешком дойду. Вы же от меня недалеко.

— А вы думаете, откуда вам звонят?

— Из радиокомитета.

— Нет, из Комитета госбезопасности.

— Какую литературную консультацию хотите вы от меня получить?

— Приедете — увидите. Долго не задержим.

Минут через тридцать в дверях возникает basketбольного роста, сутулый, худощавый мужчина.

— Герсамия. Извините, что беспокою. Служба.

Больше всего тревожусь, что начнут допытываться насчет грузинских поэтов. Они со мной откровенны, а ведь наверняка среди них есть стукачи, которые могут доложить органам, что я располагаю полезной для них информацией. Безусловно, буду отпираться, и все же ситуация препаршивая.

Но гебист рассивает мои опасения.

— Вы привезли с собой пленки с песнями Галича? — Да.

— Захватите.

Ну, это уже полегче. Спускаемся. У ворот черная "Волга". Едем. Герсамия с доверием:

— Я десять дней о вас справки наводил. Оказываешься, вы переводите нашу поэзию, болесте за тбилисское "Динамо".

Думаю: а еще что вы знаете? Но вслух ни гу-гу. Захо-

збивала страх. А тут... Не объяснимо. Наплевать мне на них, и все. Внезапно за спиной чей-то низкий голос угрожающе:

— Когда попадают к нам, не спорят.

Оборачиваюсь. На смуглом жестком лице — два глаза, словно два лезвия. Но если со мной разговаривают таким тоном, то в долгу не останусь.

— Может, преступники не спорят, но я не преступник.

— И, отвернувшись от грубияна, поясняю Герсамии, что запись у меня плохая — не разберете. Лучше слушать, мол, при мне. Неясное подскажу.

Приносят магнитофон. Первая же песня их задевает: *Ведь недаром я двадцать лет Просидел по тем лазарям.*

А на второй техника выходит из строя. Возьмется, никак не починят. Герсамия чешет в затылке.

— Не повезло. Вы идите, а мы завтра послушаем и вас снова вызовем. — Благодаря покорно. Вновь я к вам не пожалую.

— Давайте я вам эти песни спою, только при условии, что пленку возвратите.

— Не обманете? Все споете?

— Все.

Уселись с серьезными мордами, а мне забавно петь Галича в гебушке.

Ах не ищите вы, евреи, ливреи,

Не ходите вам в камергерях,

Не кричите вы зазря,

не стенайте,

Не сидеть вам ни в Синоде,

ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках

да в Бутырьках.

И ходить вам без шнурков

на ботинках,

И не делать по субботам

лехаим,

А таскаться на допрос

с вертухаем.

Пою песню за песней, и чем дальше, тем слушатели мрач-



— Да вы не поняли! Это же ирония. Галич и сам еврей.

Плешивая голова гебиста печально покачивается.

— А кому вы давали пленку в Тбилиси переписывать?

О, ты, лапочка! Неужели рассчитываешь на ответ?

— Никто ее не переписывал.

— Вы уверены?

Перебираю в памяти, кто из переписывавших мог разболтать. Как будто никто.

— Уверен.

Он хмыкает и кладет передо мной чистый лист бумаги.

— Напишите, пожалуйста, о чем, по-вашему, песни Галича.

— Я не знаток.

Герсамия принимает из ящика стола еще один лист:

— Читайте.

Ого, впервые вижу донос:

"Московский поэт Александр Глезер привез в Тбилиси записи Галича, дает их переписывать и поет его песни в редакциях газет".

Это правда. Осторожно-стью я не отличаюсь. Но какая гадина это настрочила? А гебист прикрывает подпись ладонью. Я невинно: